18+

Сергей Кумиров

Память души

Книга первая

Сергей Кумиров

Память души. Книга первая

«Издательские решения»

Кумиров С.

Память души. Книга первая / С. Кумиров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-701566-0

Память души — серия книг по 50 рассказов на основе реальных регрессов. Вашему вниманию представлена первая книга серии.Я желаю вам приятного и глубокого чтения. Читайте не торопясь, сердцем. Если какая-то история вдруг отзовется в нем колоколом,знайте: возможно, у вас была похожая жизнь, а может, вы были непосредственным свидетелем тех событий. Можете читать рассказы, а можете написать свою историю, сделав регресс.

ISBN 978-5-00-701566-0

© Кумиров С.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие 6
Сердце без голоса 7
Трудный выбор 10
Творец и Эхо 13
Исцеление Ведьминым путем 17
Бездонные глаза 20
Возвращение гармонии 24
Тень в казначействе 28
Гроза и Свет 32
Одна волшебная ночь 35
Месть и исцеление 38
Хлеб и холод 42
Тихая месть 45
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Память души. Книга первая

Сергей Кумиров

Редактор Ольга Попова

© Сергей Кумиров, 2026

ISBN 978-5-0070-1566-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Знаете, когда я сажусь писать эти строки, меня переполняет особое, трепетное чувство. Я беру ручку, а перед глазами встают лица. Десятки, сотни лиц — взволнованных, заплаканных, а потом — просветленных и умиротворенных.

И первыми я хочу поблагодарить именно их. Вас.

Спасибо каждому, кто доверил мне быть вашим проводником. Кто переступил порог моего кабинета, неся в сердце запрос, а в душе — боль. Спасибо за вашу невероятную смелость. Ведь нужно обладать огромным мужеством, чтобы решиться выйти за привычные границы этой жизни и заглянуть в глаза своим прошлым воплощениям. Вы — настоящие герои.

Поэтому я хочу сразу расставить все по своим местам. Автор этой серии книг — не я. Моя роль скромна: я лишь тот, кто красиво оформил ваши переживания в анонимные рассказы, облек в слова то, что звучало в тишине наших сеансов. Истинные авторы «Памяти души» — вы. Ваши истории, ваши судьбы, ваша готовность встретиться с тенью ради света. Эта серия будет жить и дышать, она будет продолжаться ровно до тех пор, пока будут появляться новые люди и новые исповеди их душ.

Я низко кланяюсь своим Учителям. Тем людям, свет которых стал для меня маяком в бескрайнем море бессознательного. Без них эта книга осталась бы лишь невоплощенной мечтой. Моя безграничная благодарность Руслану Эрсельевичу Мушаилову — остеопату от Бога и удивительному мастеру, чьи руки и слово творят чудеса исцеления. И, конечно, замечательным Сергею Ивановичу и Людмиле Геннадьевне Панченко. Ваш маяк всегда горел на берегу, возвращая меня к себе настоящему, когда туман сомнений становился слишком густым.

Отдельная благодарность всем, кто верил в меня и поддерживал на этом пути. Ваша вера грела меня в минуты сомнений, ваше участие сделало этот проект реальностью.

Я хочу сказать спасибо удивительной Ольге Поповой — светлому и невероятно талантливому художнику-оформителю. Именно она с материнской заботой и тонким чувством прекрасного собрала эти разрозненные истории души в единый, целостный источник, который вы держите сейчас в руках.

Я знаю, что к регрессам можно относиться по-разному. Можно скептически хмурить бровь, можно свято верить, а можно просто допускать вероятность. Можно верить в прошлые жизни или считать это красивой сказкой психики. Но поверьте моему опыту мужчины, который сопровождал людей в их самых темных и светлых коридорах памяти: это работает. Я видел это сотни раз. Люди получают глубочайшее исцеление; сбрасывают оковы страхов, копившихся веками, и обретают веру в себя, когда осознают: эта жизнь — не единственная. Мы — не только тело и ум. Мы прежде всего — большие, бессмертные души.

Я желаю вам приятного и глубокого чтения. Читайте не торопясь, сердцем. Если какая-то история вдруг отзовется в нем колоколом, знайте: возможно, у вас была похожая жизнь, а может, вы были непосредственным свидетелем тех событий.

Многие истории тяжелы. Приятного там бывало мало, они оставляли темные росчерки на матрице нашей души. Но именно проживая ту боль до конца и меняя отношение к прошлому, мы меняем восприятие в этой жизни. И тогда реальность вокруг начинает меняться самым волшебным образом.

Я желаю вам волшебных инсайтов после прочтения. Ну и напоследок — главное пожелание. *Выбирайте любовь и позитив в этой жизни. Мы и так уже с вами много страдали в прошлом. И приходите ко мне в кабинет, мы напишем с вами новую главу для следующей серии книг.*

С теплом и уважением, ваш Сергей Кумиров.

Сердце без голоса

Тихо стучало веретено в руках Арины. За окном избы гудел ветер, гнал по небу рваные облака, но девушка не слышала ни ветра, ни скрипа половиц. В ушах стоял бархатный голос Егория, шептавший ей накануне в старой оранжерее: «Ты — мое утро. Моя тишина и мой шум. Я не понимаю, как жил до тебя».

Она была крепостной, дочерью скотницы. Он — единственным сыном барина Степана Петровича. Миры их разделяла пропасть, уставленная правилами, условностями и вековым укладом. Арина знала это. Боялась каждой встречи, каждого взгляда, каждого прикосновения, словно они были краденными. Но стоило ей увидеть его высокую, немного сутулую фигуру вдали, как в груди расправлялись невидимые крылья, и страх отступал перед сладким, неумолимым безумием.

Они встречались украдкой: в заброшенной беседке, на конюшне, в дальнем яблоневом саду. Егор учил ее читать по слогам, приносил томики Пушкина, а она дарила ему запах сена, тепло своих рук и бездонную, трепетную тишину своей любви. Он говорил, что видит ее суть — горячее сердце, большую душу, внутренний свет, который затмевал все сословные предрассудки.

«Ты мне не служанка, Арина. Ты — моя гармония», — говорил он, и она почти верила.

Мать Егория, Анна Сергеевна, женщина с холодными, как зимнее озеро, глазами, заметила их первой. Застала в библиотеке, где Арина, замерев от ужаса, пыталась вырваться из объятий сына. Анна Сергеевна не кричала. Она лишь сказала, ледяным голосом:

— Кончится это позором, Егор. Она — не твоего круга. Ты сломаешь ей жизнь и свою.

— Я буду только с ней, матушка. И ничто не разлучит нас, — ответил он, и Арина, глядя на его решительное лицо, впервые позволила себе надеяться.

Но Анна Сергеевна не сдалась. Подняла на ноги отца. Степан Петрович, человек мягкий и любящий сына, лишь развел руками:

— Он упрям, как тур. Отстоит свою волю. И… она, право, хорошая девушка.

Обратились к батюшке. Священник, отец Алексей, долго беседовал с Егором о долге, о грехе, о незыблемости устоев, но ушел, сокрушенно качая головой:

— Сердцем уперся. Говорит, любовь его от Бога. Не отступник.

Тогда Анна Сергеевна, одержимая страхом за род, за репутацию, за будущее сына, пошла туда, куда ходят только в отчаянии. На окраину села, в покосившуюся избушку к старухе Маланье, про которую шептались, что она знается с нечистой силой.

— Сделай отворот, чтобы сын мой эту девку забыл, — потребовала барыня, брезгливо оглядывая темную, закопченную хижину.

Маланья, сморщенная, как печеное яблоко, усмехнулась беззубым ртом.

— Отворот он сломает, коли любовь крепка. Душа к душе тянется. Надобно иное… Чтобы сама от него ушла. Чтобы очерствело сердце ее, онемел голос. Чтобы не могла ни чувствовать, ни сказать.

И Анна Сергеевна, стиснув зубы, согласилась.

В глухую ночь Маланья бродила среди свежих могил, черпая силу у неупокоенного духа. Наложила проклятье черное, цепкое. Не на тело, а на самую суть Арины.

На следующий день Егор ждал ее у старого дуба. Увидев, он улыбнулся своей смущенной, озаряющей улыбкой и протянул руку. Арина подошла. И… ничего не почувствовала. Ни трепета, ни тепла, ни этой боли счастья. В груди лежал холодный, тяжелый камень. Она открыла рот, чтобы сказать ему о своем ужасе, но вместо слов вырвался лишь хриплый, беззвучный выдох. Голос пропал.

Она посмотрела на его любимые черты и увидела просто человека. Чужого. Страх, настоящий, животный, сковал ее. Она отшатнулась и побежала, не разбирая дороги, заглушая внутренний крик лязгом ледяной пустоты в душе.

Егор, ошеломленный, сначала думал, она шутит. Потом — что испугалась чего-то. Но дни шли, а Арина избегала его, словно чумы. При встрече опускала глаза, а в них читался только леденящий ужас и… пустота. Он понял все по-своему: разлюбила. Испугалась. Передумала. Его мир рухнул. Мать, словно ангел-утешитель, была рядом: «Видишь, сынок, она сама все решила. Простая душа, ей страшно в нашем мире. Забудь. Найдем тебе равную».

Он не забывал. Он гас. И когда мать привела в дом миловидную, образованную Софью Николаевну из соседнего имения, Егор смотрел на нее равнодушными глазами. Ему было все равно.

Свадьбу сыграли пышную. В большой зал съехались все окрестные дворяне. Арина, в своем лучшем, но убогом платье, стояла среди прислуги у колонны и смотрела, как Он ведет под венец другую. Ее душа выла в беззвучном крике, разрывалась на части, а сердце, запечатанное черной магией, молчало. По щекам текли слезы — единственное, что еще могло выразить ее боль.

Егор, проходя мимо, мельком взглянул на нее. Увидел слезы. На миг в его потухших глазах мелькнуло что-то знакомое, острое. Но тут невеста коснулась его руки, и ощущение ушло, похороненное под толщей апатии и отчаяния, которое он теперь заливал вином.

Так и прожил он свою жизнь — тихо, бесцветно, в хмельном тумане. Анна Сергеевна, заплатившая колдунье не золотом, а собственной жизненной силой, быстро одряхлела, иссохлась и умерла, так и не увидев в сыне счастья, ради которого, как она думала, все и затеяла.

Арина несла свое проклятье как крест. Без голоса, без любви, она жила долго, одиноко, переходя из одной жизни в другую. Проклятие цеплялось за ее душу, обрекая ее в каждом новом воплощении на одиночество и неспособность выразить то, что клокотало внутри.

Но однажды, спустя века, в мире, где не было ни баринов, ни крепостных, ее путь пересекся с путем человека с добрыми, очень внимательными глазами. Он был не волшебником в плаще, а просто старым библиотекарем, но в его взгляде читалась древняя мудрость. Увидев ее — теперь ее звали Ариэль — он осторожно спросил: «Что это за тяжесть у вас на сердце? И почему вам так трудно говорить?»

Она, как и всегда, попыталась ответить, и снова — лишь беззвучный шепот. Но он не смутился. Попросил ее руку и, закрыв глаза, провел пальцами над ее ладонью, будто читая невидимые письмена. «О, — тихо сказал он. — Это очень старое. И очень злое. Давайте-ка его снимем».

Он не творил ярких чудес. Он просто прошептал слова, от которых пахло ладаном и свежей землей после дождя, и дотронулся до ее груди. Ариэль почувствовала, как что-то треснуло и рассыпалось внутри. Теплая волна накрыла ее с головой, растопила лед. И из ее горла, впервые за бесконечную череду жизней, вырвался чистый, звонкий звук — рыдание, смех, освобождение.

— Спасибо, — прошептала она, и ее голос был музыкой.

Она вышла из библиотеки на улицу, заполненную шумом города, и впервые за многие жизни почувствовала все: тепло солнца, запах кофе, биение собственного живого сердца. И тогда она увидела Его. Он стоял у фонтана, смотрел на воду. Тела были другими, но душа… Душа узнала его мгновенно. Тот же наклон головы, та же линия плеч.

Она подошла, не думая, не боясь.

— Прости, что заставила ждать, — сказала она, и ее голос дрожал. — Меня долго не отпускали.

Он обернулся. В его глазах — серых, усталых — вспыхнула искра. Растерянность, узнавание, потрясение.

— Я… тебя искал, — сказал он, и это была правда, звучавшая в каждой клетке его существа. — Всю жизнь чего-то не хватало.

— Это была я, — ответила Ариэль, и слезы катились по ее лицу, но это были слезы радости. — Я всегда тебя любила. Просто не могла сказать.

Он взял ее руку, и прикосновение было как возвращение домой. Две родные души, наконец, нашли дорогу друг к другу, стряхнув прах старых проклятий и предрассудков. Их история только начиналась. Теперь — навсегда.

Трудный выбор

В те времена, когда сосны были выше, а небо чище, жил юноша по имени Светозар. Его глаза цвета летнего неба видели то, что скрыто от других: музыку ветра в кронах, печаль старого камня, радость ручья, встречающего восход. Когда он шел по лесу, волки шли рядом, не как хищники, а как любопытствующие соседи; медведицы позволяли ему гладить своих неуклюжих медвежат.

А еще была у него Белослава. Они встретились у озера, когда она черпала воду, а он возвращался с дальних лугов. Их взгляды скрестились — и что-то древнее и вечное щелкнуло, как замок, нашедший свой ключ. Не было слов, не было клятв. Они просто подошли и взялись за руки. И в этой тишине, в этом касании, их души узнали друг друга. Она была прекрасна лицом — светлые косы как спелая рожь, глаза как лесные фиалки. Но он полюбил не это. Он полюбил тот теплый, ясный свет, что исходил из ее глубины, как исходит тепло от доброго очага. Этот свет пел ему, и его собственная душа отвечала той же песней.

Светозара нашли Старцы. Пришли в его поселение, где дома из лиственницы и кедра стояли, не нарушая ритм леса, где люди жили, слыша шепот земли. «В тебе есть Дар, — сказал самый древний из них, чья борода была седая, как зимний иней. — Ты слышишь голоса стихий. Ты можешь стать Волхвом».

Стать Волхвом — величайшая честь. Волхвы не приказывали природе — они разговаривали с ней. Их оружием и инструментом был голос, выверенный до вибрации, слово, произнесенное с нужной интонацией, становящееся ключом к душе бури, к сердцу реки, к разуму огня. Их учили годами: учили молчать внутри, чтобы услышать своих богов — свое высшее «Я». Но цена была безмерна: отречение от всего прежнего. От семьи, от дома, от своего имени. И от любви.

Сердце Светозара разорвалось пополам. С одной стороны — зов Дара, долг перед родом и землей. С другой — свет Белославы, ее рука в его руке, тихое счастье, понятное и простое, как дыхание.

Он выбрал долг. Но как вынести прощание? Как посмотреть в ее фиалковые глаза и сказать: «Я больше не твой»? Боль была так сильна, что громадиной встала на его груди, не давая дышать. И тогда Светозар, еще не обученный, но уже сильный инстинктом, совершил ошибку.

Он не просто отгородился от боли. Он решил закрыть свое сердце. Насовсем. Построил внутри себя неприступную крепость из льда и тишины, куда не могла проникнуть ни мука разлуки, ни терзания сожаления. Он думал, что так будет легче.

На прощание он подошел к своему другу — серому волку по имени Вереск. Положил руку на его голову. «Смотри за ней, — прошептал он. — Храни ее свет». Вереск глухо взвыл, уткнувшись мордой в его ладонь.

Светозар ушел. Не оглянулся. Не чувствовал, как слезы жгут его лицо — он отключил и это. Не чувствовал, как кричит его душа. Он лишь ощущал холодную, тяжелую пустоту в груди, где раньше билось живое сердце.

Годы учения прошли как один долгий, бесцветный день. Он стал Волхвом. Его голос, низкий и чистый, усмирял разбушевавшуюся воду, направлял ветер в паруса, просил землю дать урожай. Его почитали. Боялись. Уважали. Но в его успехах не было радости, лишь точность хорошо выполненной работы. Он перестал видеть краски мира. Не чувствовал ласки солнца на коже, не слышал музыки в пении птиц. Он управлял стихиями, но сам стал подобен камню — мудрому, могущественному, но безжизненному. Внутренний диалог он отключил так успешно, что услышал только великое, гулкое безмолвие. Боги, его высшее «Я», молчали, потому что говорили с ним на языке чувств, а он сделал себя глухим.

И пошел Светозар странствовать по векам. Жизнь за жизнью, воплощение за воплощением. Он был мудрецом в забытых царствах, отшельником в горах, ученым в пыльных библиотеках. Везде он нес с собой свою ледяную крепость. Люди тянулись к его силе и знаниям, но быстро отшатывались от холода, что исходил от него. Он не чувствовал любви, дружбы, простой человеческой теплоты. Он был совершенным инструментом, лишенным руки, которая могла бы на нем играть.

Прошли эпохи. Леса поредели, животные научились страху, небо затянулось дымом городов. Холод в его груди стал его единственной константой, вечным спутником.

Однажды, в мире, похожем на наш, но все же ином, он шел по шумному городскому парку. Осенние листья кружились под порывами ветра, который он уже не слышал. И тут его взгляд упал на женщину, сидевшую на скамейке и кормившую голубей.

Время остановилось.

У нее были светлые волосы, собранные в небрежный пучок, и глаза цвета весенних фиалок. Она что-то тихо напевала, и в уголках ее глаз светились лучики — следы смеха и, возможно, печали. Она была не та, не Белослава того леса. Но свет… тот самый, теплый, ясный, добрый свет исходил от нее, как исходит тепло от очага в стужу.

И ледяная крепость, простоявшая тысячелетия, дала трещину.

Сначала это была просто щель. Через нее хлынула память: запах хвои и озера, тепло руки в его руке, воющий голос Вереска, скучающие глаза Белославы. Боль, от которой он бежал все эти жизни, накрыла его с такой сокрушительной силой, что он схватился за грудь, задыхаясь. Это была боль прощания, боль утраченных лет, боль от предательства собственного сердца.

Он застонал, и звук этот был диким, нечеловеческим, полным вековых страданий.

Женщина на скамейке подняла голову. Увидела его — мужчину в простой одежде, с лицом, искаженным мукой, и глазами полными такой древней, такой глубокой тоски, что ее собственное сердце сжалось. Но не от страха. От чего-то другого. Она встала.

Светозар, сквозь туман боли, видел, как она идет к нему. Ее шаги были мягкими, неслышными на шумном асфальте. Она остановилась перед ним.

— Вам плохо? — спросила она. Голос ее был как колокольчик, чистый и звонкий. И в нем была та самая нота — нота безоговорочного, бесстрашного участия.

Он не мог говорить. Он мог только смотреть. Смотреть на ее свет. И под этим взглядом, под звуком ее голоса, лед стал таять. Трещины пошли по всем стенам, крепость рушилась, блок за блоком, с грохотом обрушивающихся ледников.

И тогда, сквозь боль, сквозь слезы, хлынувшие потоками после тысячелетней засухи, он почувствовал другое.

Тепло. Осеннего солнца на лице. Аромат опавших листьев и ее тонких духов. Нежность, исходящую от ее взгляда. И что-то огромное, могучее, давно забытое, что начало набухать в его освобожденной груди, вытесняя ледяную пустоту.

Это было чувство. Первое за бесконечно долгое время.

Он упал на колени, не в силах вынести это нахлынувшее цунами ощущений. И она, не раздумывая, опустилась рядом, обняла его за плечи.

— Все хорошо, — прошептала она ему в ухо, и ее слова были как теплый дождь на выжженную землю. — Все уже позади. Ты дома.

И в этот миг, когда ее руки коснулись его, а ее свет окутал его целиком, он наконец-то услышал. Не стихии. Не бурю. А тихий, мудрый, бесконечно добрый голос внутри. Голос своего высшего «Я». Оно не говорило словами. Оно пело. И песня эта была о любви. Всегда была о любви.

Светозар поднял голову. Его глаза, очищенные слезами, снова видели краски мира — ослепительно яркие, почти невыносимые в своей красоте. Он увидел ее лицо, озаренное состраданием и чем-то еще… чем-то глубоко знакомым.

— Белослава? — выдохнул он, и в этом слове была вся его сломанная, но ожившая душа.

Она не удивилась. Она лишь улыбнулась, и в этой улыбке сияли все озера, все рассветы и вся гармония потерянного рая.

— Я так долго искала тебя, — сказала она просто. — Моя душа скучала по своей половине.

И он обнял ее. Крепко-крепко, как будто хотел слить воедино две потерявшиеся половинки одного целого. Холод окончательно растаял, смытый волной тепла, которое начиналось где-то глубоко в его груди и разливалось по всему миру.

Наконец-то он перестал быть Волхвом, управляющим стихиями. Он снова стал человеком. Чувствующим. Любящим. Цельным. Он обрел не просто любовь. Он обрел свое потерянное сердце. И в нем, теперь живом и бьющемся в такт ее сердцу, он наконец нашел то счастье, ради которого и стоит жить — из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение.

Творец и Эхо

В стародавние времена, когда деревья были колоннами, упирающимися в небесный свод, а горы лишь начинали просыпаться ото сна, мир был гибким, как глина в руках мастера. И мастерами были они — Великаны. Их шаги были землетрясениями, их дыхание — ветром, их смех — раскатами грома. Люди, крошечные и благоговейные, называли их богами. Но это были не боги. Это были Творцы.

Одного из них звали Эларис. Его кожа отливала цветом старого мха и теплого камня, а волосы, подобные корням тысячелетних дубов, были увиты живыми лозами и светлячками. Его ремеслом был ландшафт. Эларис не строил и не высекал. Он… пел. Его голос, низкий и глубокий, как сама планета, рождал вибрации, которые уплотняли материю, заставляли континенты дышать, а камень течь, как мед.

Он шел по податливой равнине, и его песня поднимала волну земли, которая застывала величественной грядой гор, зубчатой и сверкающей снегами. Он склонялся над новорожденным хребтом, и его шепот, нежный и ласковый, вырезал в скалах ущелья, долины, русла для будущих рек. Потом он касался земли пальцами, и из-под его ногтей прорастали семена гигантских папоротников, хвощей и тех самых небесных деревьев, чьи кроны терялись в облаках. Лес рождался симфонией зелени и жизни.

Но самым важным был не облик, а суть. Эларис вдыхал в свои творения не воздух, а Любовь. Безусловную, созидающую энергию, которая превращала безжизненные молекулы в трепещущий лист, в звенящий ручей, в упругую почву. Он наделял мир душой. Он мог часами сидеть на склоне новорожденной горы, наблюдая, как играет свет на ее гранях, как облако цепляется за пик, и в его груди разливалось тихое, всеобъемлющее счастье. Он любил. Без условий. Просто потому, что это было.

Но гармонию услышали не только те, кто мог ее оценить.

Они пришли без предупреждения, на кораблях из черного камня, который поглощал свет. Хаотхи. Раса, чьи души были перекошены вечным голодом. Они не умели творить. Их мир был серой пустыней, истощенной их жаждой. Они могли лишь потреблять, паразитиро-

вать на чужой красоте, высасывая энергию. А питались они низкими вибрациями: страхом, болью, отчаянием, ненавистью. Созерцание разрушения было для них высшим наслаждением.

Земля, напоенная любовью Элариса и его братьев, стала для них пиром.

Великаны не ждали атаки. Зачем атаковать богов? Но Хаотхи применили оружие не против плоти, а против самой сути. Вибрационный диссонанс. Какофония, от которой трескался камень и гнило дерево. Но для Творцов она была страшнее. Их цель была тоньше — разорвать триединую нить бытия.

Эларис застиг их песню в самом сердце своего нового леса. Он обернулся, и черный луч, поющий на частотах распада, пронзил его. Это не было болью в привычном смысле. Это было… расщеплением.

Он почувствовал, как его Тело — древнее, сильное, пронизанное силами земли — окаменело и рухнуло, превратившись в огромную скалу, одинокую и молчаливую посреди леса.

Его Ум — вместилище знаний, песен, планов создания миров — был вырван и рассеян. Частицы разума разлетелись, как пыльца, оседая в камнях, в деревьях, в водах, обрывочными воспоминаниями, снами, интуитивными догадками.

А его Душа — чистая энергия безусловной любви — была не уничтожена (уничтожить ее было невозможно), но отброшена, заключена в ловушку вне времени, в эфирную темницу, где она могла лишь слабо светиться, как далекая, забытая звезда.

Хаотхи торжествовали. Они опустились на израненную планету, принялись выжимать из нее страдание, сеять страх, отравлять реки и искажать жизнь. Деревья-гиганты падали, горы чернели, а в сердцах всех живых существ поселился холодный осадок утраты, не понимаемой, но глубокой.

Так прошли эпохи.

Тело Элариса было просто скалой. Ветер и дождь ваяли его черты, но он не чувствовал. Птицы вили гнезда в его трещинах, но он не знал.

Ум его был разбросан. Частица, застрявшая в старом дубе, шептала о форме идеального листа. Капля в подземном источнике помнила мелодию, рождающую родники. Горный хрусталь хранил осколок знания о гармонии светил. Но все это были лишь обрывки, эхо без голоса.

Душа томилась в тишине, излучая немое томление по тому, чтобы снова… соприкоснуться, обнять, оживить.

Но Любовь, даже заточенная, находит пути. Она начала струиться тончайшими нитями.

Однажды, когда жестокость Хаотхов достигла пика, и маленькая человеческая девочка, спасаясь от погони, прижалась в страхе к холодному камню-скале (Телу), ее слеза упала на камень. И в ее сердце, отчаянно желавшем защиты и мира, вдруг вспыхнул странный, чужой образ: великое, доброе существо, поющее горам. Это был осколок Ума, откликнувшийся на чистую эмоцию.

В другом месте, старый слепой мудрец, искавший источник порчи мира, положил руку на древний, больной дуб и внезапно увидел внутренним взором схему мироздания, где все было связано нитями света. Еще один обрывок Ума.

А юноша-художник, пытаясь запечатлеть красоту умирающего леса, вложил в рисунок такую тоску по утраченному совершенству, что его кисть будто вела сама себя, и на камне у его ног расцвел крошечный, невиданный цветок. Это была капля энергии Души, пробившаяся сквозь барьер, притянутая созвучной тоской.

Это были лишь искры. Но их становилось больше. Люди, животные, даже растения — все, кто тосковал по гармонии, кто творил, кто любил бескорыстно, непроизвольно притягивали и соединяли рассеянные части Элариса.

Процесс шел веками. Легенды о каменных исполинах, о духах гор, о божественных снах — все это были отголоски памяти мира о своем Творце.

И вот, в день, когда Хаотхи, уверенные в своей победе, начали грандиозный ритуал, чтобы окончательно снизить вибрацию планеты и сделать ее вечной тюрьмой, случилось Невозможное.

Девочка, потомок той самой беглянки, теперь жрица, хранящая легенды, стояла у скалы-Тела. Рядом с ней был старый мудрец, наследник знаний слепого пророка. А перед скалой — художник, в чьих жилах текла кровь того юноши с кистью. Они не сговаривались. Их привела сюда одна сила.

Они положили руки на холодный камень. Жрица вспомнила все истории, весь образ Элариса. Мудрец сосредоточился на знаниях о связи всего сущего. Художник отдался чистой любви к этому месту, к этому миру, каким он мог бы быть.

И в этот миг три нити натянулись до предела.

Осколки Ума в них и вокруг них вспыхнули, потянулись друг к другу, собрались в сияющий клубок знания и памяти.

Энергия их объединенного сознания и чистого чувства ударила, как ключ, в темницу Души. Затворы пали.

И тогда Любовь, наконец свободная, хлынула вниз, в скалу, в самое сердце Тела.

Камень затрещал. Но не от разрушения. От пробуждения. Скала сбросила многовековые наслоения, обрела форму — могучие ноги, торс, склоненную голову. Глаза, высеченные из сапфировых глубин, открылись. В них не было гнева. В них была печальная, безмерная ясность.

Эларис поднялся. Он был цел. Тело, Ум и Душа снова пели в унисон.

Он не стал бросаться в бой. Он просто сделал шаг к месту ритуала Хаотхов и вдохнул. Он вдохнул не воздух, а ту самую какофонию страха и ненависти, которую они излучали. И в его груди, в горниле безусловной любви, низкие вибрации преобразовались, очистились, стали тишиной и светом.

Захватчики в ужасе отшатнулись. Их оружие бездействовало. Оно было бессильно против целостности, против гармонии, которую они не могли ни понять, ни вместить. Самые низкие из них рассыпались в прах, лишенные ядовитой пищи. Остальные в панике бежали, их черные корабли таяли в лучах восходящего солнца.

Эларис обернулся к людям, к лесу, к горам. Он улыбнулся. Это была улыбка, от которой расцвела выжженная земля, а в небе зазвучала забытая музыка ветра.

Он снова был дома. И мир, наконец, снова мог дышать полной грудью. Он вспомнил. И в его воспоминании обретала целостность вся Земля.

Исцеление Ведьминым путем

С самого детства Лиана слышала шепот леса. Когда ветер играл в кронах дубов, ей казалось, что деревья пересказывают друг другу старинные истории. Роса на паутинках сверкала для нее особым светом, а травы называли свои имена, когда она проходила мимо.

Родители, уже немолодые к ее рождению, называли дочь лесной феей, но прожили недолго. В восемь лет Лиана осталась совсем одна, пока ее не нашла Марта — ведающая мать, как звали таких женщин в их краях. Марта видела свет в девочке, тот особый дар, который нельзя было не заметить.

— Ты не ведьма, дитя, — говорила Марта, показывая Лиане, как готовить целебные настои. — Ведьма — это от слова «ведать», знать. Мы не колдуем, а слышим. Не приказываем природе, а просим.

Лиана училась быстро. Голосом она умела успокоить плачущего младенца, руками — снять головную боль, травами — исцелить лихорадку. Она росла, и с каждым годом ее красота становилась все необыкновеннее — не броской, но глубокой, как лесное озеро, в котором отражается небо.

Люди приходили к Марте и Лиане за помощью, но в душе многие боялись их. Страх рождался из невежества: почему эти женщины живут на окраине села? Почему у них всегда выздоравливает даже безнадежный больной? И когда пришел неурожайный год, страх превратился в ярость.

Лиана помнила тот день до мелочей: запах осеннего леса, холодок на щеках, хруст веток под ногами. И вдруг — острая боль в груди, будто сердце пронзили раскаленным железом. Она бросила хворост и побежала.

Дым увидела еще на подходе. Черный, едкий столб поднимался над домом Марты. Крики толпы сливались в животный рев. Лиана спряталась за деревьями и смотрела, как пламя пожирает ее дом, ее прошлое, ее мать. Марта не кричала. Только пела — тихую, древнюю песню, пока огонь не поглотил и голос.

Лиана не озлобилась. Горе было слишком глубоким для злобы. Она просто не понимала: как те, кому Марта спасала детей, лечила раны, могли так поступить?

Ее приютил старый мельник Иван. Добрый, одинокий человек, потерявший когда-то свою семью. Он называл Лиану дочкой, отогревал ее замерзшую душу. И она снова начала помогать людям — тайком, чтобы не навлечь беды на нового отца.

Но ее красота оказалась проклятием. Жены местных мужей, сначала шептавшиеся на посиделках, потом открыто обвинили Лиану в том, что она «обворожила» их мужей. Зависть — страшная сила — превратила сплетни в уверенность, а уверенность — в приговор.

Они ворвались в дом мельника темной ночью. Иван пытался защитить, но его отшвырнули, ударив головой о камень. Лиану связали, вытащили на площадь.

— Ведьма! Наша беда из-за нее! — кричала толпа.

Она смотрела на эти искаженные лица и не видела в них зла. Видела только страх, боль, отчаяние. И в последний момент, вместо проклятия, прошептала:

— Да будет вам легко. Прощаю.

Кони рванули в разные стороны…

Часть ее, отданную псам, она не чувствовала. А вот вторую половину, которую Иван, очнувшись, смог отбить и похоронить под старой яблоней у мельницы, она ощущала долго. Там, под землей, в тишине, ее любовь к этому миру не умерла, а проросла. На могиле цвели цветы невиданной красоты — даже зимой.

И потом были другие жизни. Она рождалась с чувством потери, будто что-то важное забыла, оставила где-то. Искала себя в книгах, медитациях, путешествиях. Но ответ приходил только тогда, когда она переставала искать и начинала отдавать.

В одной жизни она была монахиней, ухаживавшей за прокаженными. В другой — простой крестьянкой, растившей сирот. В третьей — врачом в бедном квартале. Она не помнила прошлого, но в каждом ее поступке звучало эхо того шепота леса, той песни Марты в огне.

И вот, в нынешней жизни, родившись снова с той же тоской, она однажды просто устала копаться в себе. Устала искать «цель» и «предназначение». Вместо этого она пошла работать в хоспис. Просто держала за руки умирающих. Просто слушала. Просто была рядом.

И однажды, держа руку старого художника, который уже не мог говорить, она почувствовала тепло. Оно шло не от нее к нему, а от него к ней. Словно благодарность, светлая и тихая, наполняла ее изнутри. И в этот момент что-то щелкнуло.

Лиана вышла в сад хосписа, где цвели поздние осенние астры. И услышала. Тот самый шепот. Тот самый голос леса, ветра, земли. Он звучал не снаружи, а внутри. Он всегда был там.

Она подняла лицо к небу, и слезы текли по ее щекам, но это были слезы не горя, а возвращения. Части ее души, разбросанные веками и жизнями, мягко и нежно тянулись друг к другу, соединялись.

Она не стала прежней Лианой. Она стала целой. И поняла простую истину, которую знала, но забыла, пытаясь найти себя в себе самой: целостность рождается не от поисков, а от отдачи. Не от вопросов, а от любви, данной просто так.

Теперь она снова слышала голоса трав, пела песни, исцеляющие душу, и ее руки знали, где болит. Но больше всего она любила приходить к тем, кто, как и она когда-то, чувствовал себя разорванным, потерянным. И просто быть рядом. Держать за руку. Напоминать тишиной и присутствием: ты целый. Ты любим. Ты — часть этого прекрасного, живого мира.

И на ее могиле, когда придет время, снова будут цвести цветы. Но теперь она знала — это будет не память о боли, а свидетельство любви, которая сильнее смерти и времени. Любви, что, отдавая себя, обретает все.

Бездонные глаза

Дождь стучал по крыше маленького дома на окраине Дрездена, когда фрау Хельга впервые заметила необычность своей дочери. Лизеле было три года, когда она, прикоснувшись к порезанному пальцу отца, остановила кровь одним теплым взглядом. А в четыре она начала видеть «картинки» — отрывки грядущего, приходившие во сне и наяву. Сначала родители пугались, потом гордились: их Лизеле была особенной.

Объявление в газете «Фелькишер беобахтер» показалось им знаком свыше: «Ищем одаренных детей для служения Великой Германии. Лучшие условия, патриотическое воспитание». Под заголовком красовалась эмблема «Аненербе» — руническая символика, обещавшая тайные знания. Карл и Хельга обменялись взглядами полными надежды. Их дочь будет среди избранных! Она поможет Рейху!

Солдаты в черной форме пришли за девочкой в солнечный майский день. Лизеле, крохотная блондинка с огромными серыми глазами, крепко держала в руках тряпичного зайца. Мать надела на нее лучшее платье, отец поправил бант.

«Будь умницей, слушайся. Ты будешь героем», — сказал Карл, пряча внезапно сжавшееся горло.

Хельга улыбалась, и эта улыбка была похожа на маску. «Мы так тобой гордимся, моя звездочка».

Лизеле смотрела на родителей, потом на солдат, и в ее глазах мелькнула тень — словно она уже видела этот момент раньше. Но она лишь кивнула и взяла протянутую солдатом руку. Не плакала.

Интернат «Волчье логово» был скрыт в гуще баварского леса. Серое каменное здание, колючая проволока, часовые. Внутри — двадцать детей от четырех до десяти лет. Мальчик, умевший передвигать предметы взглядом. Девочка, чувствовавшая боль других на расстоянии. Мальчик, кожу которого не брал нож. И Лизеле, видящая будущее и лечащая прикосновением.

Фрау Зайц, воспитательница с лицом из гранита и тростью в руках, строила их в ряды с первого дня. Подъем в пять, ледяной душ, строевая подготовка, идеологическая обработка. Им вдалбливали: вы — оружие. Вы — будущее. Чувства — слабость. Боль — топливо.

Но самым страшным был не распорядок. Раз в неделю детей по одному вели в подвал. Там стояли странные машины с искрящимися катушками и стеклянными колбами, заполненными мерцающей жидкостью. Ребенка привязывали к металлическому креслу. Фрау Зайц или один из «докторов» вызывал у них страх — угрозами, болью, демонстрацией ужасающих образов. А когда ребенок начинал рыдать, биться в истерике, машины гудели громче, колбы светились ярче, иглы на циферблатах прыгали.

«Прекрасно, — шептал главный техник. — Сильная эмоциональная энергия. Пси-генератор заряжается».

Лизеле научилась не плакать. Она сжималась внутри, уходила в тот уголок сознания, где еще жили мамины песни и запах домашнего хлеба. Но и этот уголок с каждым месяцем становился меньше. Ее способности — те, за которые ее забрали, — угасали. Будущее стало мутным, прикосновение больше не исцеляло. Она лишь чувствовала чужую боль острее, поглощая ее, как губка. К семи годам она была пустой скорлупой. Серые глаза, когда-то искрящиеся любопытством, стали плоскими, как озерная гладь в безветренный день.

Апрель 1945-го. Грохот советской артиллерии был уже слышен даже здесь, в лесу. В интернате царила паника. Детей построили в подвале, где стояли уже другие машины — с электродами и жужжащими трансформаторами.

«Процедура особой важности, — объявила фрау Зайц, но в ее голосе впервые слышалась дрожь. — Она сделает вас сильнее».

Лизеле пристегнули к креслу. На голову надели металлический обруч с ледяными контактами. Она не сопротивлялась. Просто смотрела в потолок пустым взглядом.

Щелчок выключателя. Белая, режущая молния в мозгу. Вспышка — и полная, абсолютная тишина. Не больно. Не страшно. Пусто. Рассыпались последние образы: мамины руки, заяц, солнечный луч на полу… Погасли.

Когда ее отстегнули, она безвольно сползла на пол. Сидела, уставившись в стену. Ни страха, ни любопытства, ни воспоминаний. Только автоматическое дыхание и сердцебиение.

Советские солдаты, ворвавшиеся в интернат через три дня, застыли на пороге детского барака. Двадцать маленьких фигур сидели на кроватях в идеальной тишине. Ни плача, ни вопросов. Глаза — стеклянные, невидящие. Лейтенант Иван Петров, сам отец двоих детей, подошел к девочке с белокурыми волосами. Она не отреагировала на его прикосновение, на слова, на кусок хлеба. Она просто существовала.

«Что они с ними сделали, твари…» — прошептал он, и в его голосе была такая ненависть, что даже его бойцы отшатнулись.

Розыски родителей заняли месяцы. Карл и Хельга выжили, потеряв все. Когда к ним пришли с вестью, что их дочь нашлась, они плакали от счастья.

Их привезли в советский госпиталь, где разместили выживших детей. Лизеле сидела у окна в простом больничном халатике. Она была чистой, ее кормили. Но в ней не было ничего от той живой, чувствительной девочки.

«Лизеле? Доченька?» — Хельга упала перед ней на колени, трясясь от рыданий. Карл стоял как истукан, глядя на это маленькое, бесчувственное существо.

Девочка медленно повернула голову. Серые глаза скользнули по лицам этих плачущих незнакомцев. Ни капли узнавания. Ни искры чувства. Она смотрела на них, как на предметы мебели, и медленно отвернулась к окну, где качалась ветка старой липы.

Хельга закричала — тихим, раздирающим душу воем человека, понявшего непоправимость своей ошибки. Карл обхватил голову руками: «Мы… мы сами отдали ее… мы…»

Лизеле, или теперь просто Лиза, прожила долгую жизнь в ГДР, а потом в объединенной Германии. Ее родители до смерти ухаживали за ней, пытаясь искупить вину. Она научилась есть, ходить, выполнять простые действия. Но внутри оставалась пустота. Она не смеялась, не плакала, не говорила о любви. Она смотрела на мир теми же бездонными глазами, в которых однажды погас свет.

Иногда, в редкие весенние дни, когда пахло влажной землей и распускающимися почками, она подолгу смотрела на какую-то точку в воздухе. Возможно, в глубинах уничтоженной памяти шевелилось что-то смутное и теплое — тень тряпичного зайца, обрывок колыбельной. Но это не вызывало улыбки. Лишь едва уловимую дрожь век.

Ее история не стала громким процессом или символом. Она была одной из многих тихих трагедий, растертых жерновами безумной идеологии. Она напоминала нам о самом страшном — о том, как система может превратить уникальную, светлую душу в холодный камень. И о том,

что иногда самое чудовищное зло начинается не с громких речей и взрывов, а с молчаливого согласия тех, кто, поверив в великую ложь, добровольно отдает своих детей в пасть монстра.

Чтобы помнили. Чтобы ни один детский взгляд больше не гас вот так, навсегда.

Возвращение гармонии

В те времена, когда мир был молод, великаны-творцы ходили по мягкой, податливой земле. Небо было ближе, звезды — ярче, а сама планета вибрировала тихой, прекрасной музыкой, звучащей из самых ее недр. Все живое танцевало в такт этой вечной симфонии.

Среди творцов была Аэлис. Высокая, с волосами цвета темного янтаря и глазами, похожими на две глубокие озера, она отвечала за создание птиц. На ее лбу сиял кристалл Илленара — прозрачный камень, усиливающий мысль и превращающий воображение в материю.

Аэлис строила сложные сооружения из гладких речных камней у подножия хрустальных гор. Когда ветер проходил через эти лабиринты, рождались звуки, каких мир еще не слышал: переливчатые трели, похожие на смех воды, глубокие вибрирующие гудения, напоминающие гул земли, и чистые, высокие ноты, словно падающие звезды.

Затем она погружала руки в огромную чашу с теплым солевым раствором. Концентрируясь, с помощью кристалла Илленара она лепила из живой жидкости формы будущих созданий. Перья рождались из искрящихся брызг, клювы — из струящихся потоков, а легкие кости — из пузырьков воздуха. И в самую последнюю очередь, поднося новорожденное существо к каменным звуковым конструкциям, она наделяла птицу собственной, уникальной песней.

Так появились сиринги с мелодиями, заставляющими цвести камни, и ветрокрылы, чьи трели управляли воздушными потоками. Мир был совершенным оркестром, где каждый звук, каждое существо находилось в гармонии.

Но рай привлекает не только чистые души.

Они пришли из бездны между мирами — Сайлоны. Раса древних паразитов, лишенная способности творить, питающаяся чужой энергией и гармонией. Их корабли были похожи на черные гниющие шипы, вонзившиеся в небеса. Их оружие било не светом или огнем, а диссонансом — грубыми, разрывающими вибрациями, которые вносили хаос в музыку земли.

Великаны не были воинами. Они были художниками, композиторами, садоводами реальности. Их сила была в созидании, а не в разрушении. Вибрационные пушки Сайлонов вызывали у творцов физическую боль и помутнение разума, заглушая внутреннюю песню их душ.

Один за другим, творцы падали, захваченные или обращенные в безмолвные, истощенные статуи. Аэлис пыталась спасти хотя бы своих птиц, распустив их в четыре стороны света, но черные тени настигли и ее.

Ее кристалл Илленара, источник ее силы, теперь был лишь холодным камнем на лбу в темнице, высеченной в глухой, немой скале. Сайлоны, существа в угловатых, механических оболочках, с мерцающими красными сенсорами вместо глаз, пытались выведать секреты. Они тыкали своими инструментами в кристалл, требовали чертежи звуковых конструкций, формулу «воды жизни».

«Как вы заставляете мертвую материю петь? Как вливаете в форму душу?» — шипел их командор, голос — скрежет металла.

Аэлис молчала. Как объяснить слепому от рождения красоту цвета? Как рассказать о музыке тому, кто слышит лишь шум? Они хотели рецепт, инструкцию, технологию. Но творила не технология. Творила душа, вложенная в действие, любовь, вплетенная в каждую молекулу. А у Сайлонов не было души. Была только бесконечная, ненасытная пустота.

Горечь заполнила ее, как яд. Горечь не только от боли, когда их устройства выворачивали ее тонкую энергетику наизнанку. Горечь от осознания своей наивности. Они так любили свой мир, так доверяли его гармонии, что не предусмотрели в нем места для зла. Они просчитались. Проиграли.

Чтобы выжить, чтобы не сломаться под пытками и не отдать паразитам ключи к сердцу творения, Аэлис сделала единственное, что могла. Она обратила свой взор внутрь. Отключила чувствительность. Замуровала свое сердце толстыми стенами безразличия и забвения. Ее глаза, некогда полные звезд, потухли. Она больше не чувствовала боли от пыток. Но и не чувствовала больше связи с миром, с небом, с далеким пением последней своей птицы, затерявшейся где-то в горах.

Разъяренные своим бессилием, Сайлоны уничтожили ее физическую форму. Но убить творца — не то же самое, что уничтожить творение.

Миру, в создание которого была вплетена душа Аэлис, она не была безразлична. Частичка ее, искра любви к своим птицам, к звучащим камням, к самой музыке земли, осталась здесь. И, как семя, ждала своего часа.

Она возвращалась. Снова и снова. В телах обычных людей, рожденных уже в мире, где музыка земли была едва слышным шепотом под грохот машин Сайлонов и дисгармоничный гул их городов. Мир стал серым, шумным и болезненным. Паразиты правили, выдавая свое потребление за прогресс, а забвение — за норму.

В каждой жизни Аэлис (теперь у нее были другие имена: Лира, Майя, Соня) чувствовала смутную тоску. Ее тянуло к птицам, к необычным камням, к тихим местам, где, прислушавшись, можно было уловить обрывок древней мелодии. Она пыталась «исправить» мир: боролась, протестовала, строила утопии в отдельно взятых сообществах. Но ничего не менялось. Сайлоны, принявшие облик сильных мира сего, легко подавляли любые внешние изменения.

До той жизни, когда она, уже немолодая женщина по имени Элина, стояла на пустынном океанском берегу.

Буря только отгремела. Ветер свистел через расщелины в прибрежных скалах. И вдруг… он извлек из камней звук. Древний, забытый, пронзительно чистый звук. Одну-единственную ноту из той самой симфонии.

И в ее душе что-то дрогнуло. Треснула та самая стена, которую она возвела в далекой темнице. Сквозь трещину хлынул поток. Не памяти — чувства. Чувства безмерной любви к синему океану перед ней, к мокрому песку под ногами, к крику чайки в небе. Любви, которой не надо причин, не надо условий.

Элина упала на колени, и слезы, которых она не плакала много жизней, потекли по ее щекам. Она не вспомнила имен, не вспомнила технологий. Она открыла свое сердце.

И мир откликнулся.

Земля под ней словно вздохнула. Тихая, едва уловимая вибрация прошла от ядра планеты через все слои и вышла наружу там, где ее стопы касались песка. Это была та самая музыка. Сломанная, искалеченная, но живая. Она звучала не в ушах, а прямо в ее открытом сердце.

В тот момент Элина поняла. Они не могли изменить мир, пытаясь перестроить его извне, борясь с паразитами их же методами. Мир менялся изнутри. Он был их отражением. Чтобы вернуть гармонию, нужно было самому стать ее источником. Открыть заблокированные каналы любви и творчества. Сайлоны могли захватить все, кроме внутреннего мира творца.

И когда одно сердце открылось, зазвучало, оно стало камертоном. Где-то в большом городе молодой музыкант, тщетно искавший свою мелодию, вдруг услышал ее внутри и заплакал. Где-то в лесу старый лесник, приложив ладонь к старому дубу, ощутил пульс, и ему показалось, что дерево поет. Дети смеялись, и в их смехе звенели обертона забытых птичьих песен.

Война не была выиграна в тот день. Но она началась по-настоящему. Не война мечами, а война пробуждения. Каждое открытое сердце, каждый миг безусловной любви, каждое искреннее творение — это была нота, возвращающаяся в великую симфонию.

Аэлис-Элина шла по берегу, и с каждым ее шагом трава под ногами становилась зеленее, а цветы — ярче. Она знала: паразиты не смогут жить в мире, который зазвучит в полную силу. Их диссонанс просто сгорит в чистом огне гармонии, как тьма сгорает в лучах солнца.

И она знала, что где-то там, в других телах, в других жизнях, просыпаются и другие великаны. Художник, подбирающий краски для неба. Садовник, чьи руки помнят форму облаков. Строитель, который складывал не камни, а сны.

Они проиграли битву. Но чтобы выиграть войну, им нужно было лишь вспомнить, кто они, и обрести смелость снова любить. Любить этот мир так сильно, чтобы своим чувством перестроить его ноту за нотой, пока музыка земли не зазвучит вновь для всех, у кого есть сердце, чтобы ее услышать.

И тогда безусловная любовь будет везде. Не как мечта, а как воздух, которым дышит пробудившийся мир.

Тень в казначействе

В казначействе Баварии, в тусклом свете осеннего дня 1782 года, сидел молодой клерк по имени Фридрих. Его перо, острое и аккуратное, выводило цифры в толстых учетных книгах с почти религиозным усердием. Он окончил институт с отличием, но его происхождение — сын скромного учителя — позволило занять лишь самую низшую ступень в иерархии ведомства. Однако Фридрих не роптал. В этих колонках цифр он видел не сухие отчеты, а пульсирующую кровь государства, сложную симфонию порядка. Он любил свою работу страстно, как художник любит холст.

Но была у него и другая, более личная страсть. Ее звали Элизабет. Она работала в соседнем отделе, переписывая официальные письма своим изящным почерком. Ее смех напоминал звон хрусталя, а глаза, серые как баварское небо перед рассветом, светились умом и добротой. Их любовь расцвела тихо, между стеллажами с архивами: украденные взгляды, совместные обеды за скромным деревянным столом в трактире «У Золотого Орла», долгие прогулки вдоль реки Изар после службы. Они строили воздушные замки: маленький домик у леса, книга, которую он напишет, дети, которых она будет учить музыке. Их мечты были их единственным, но неоценимым богатством.

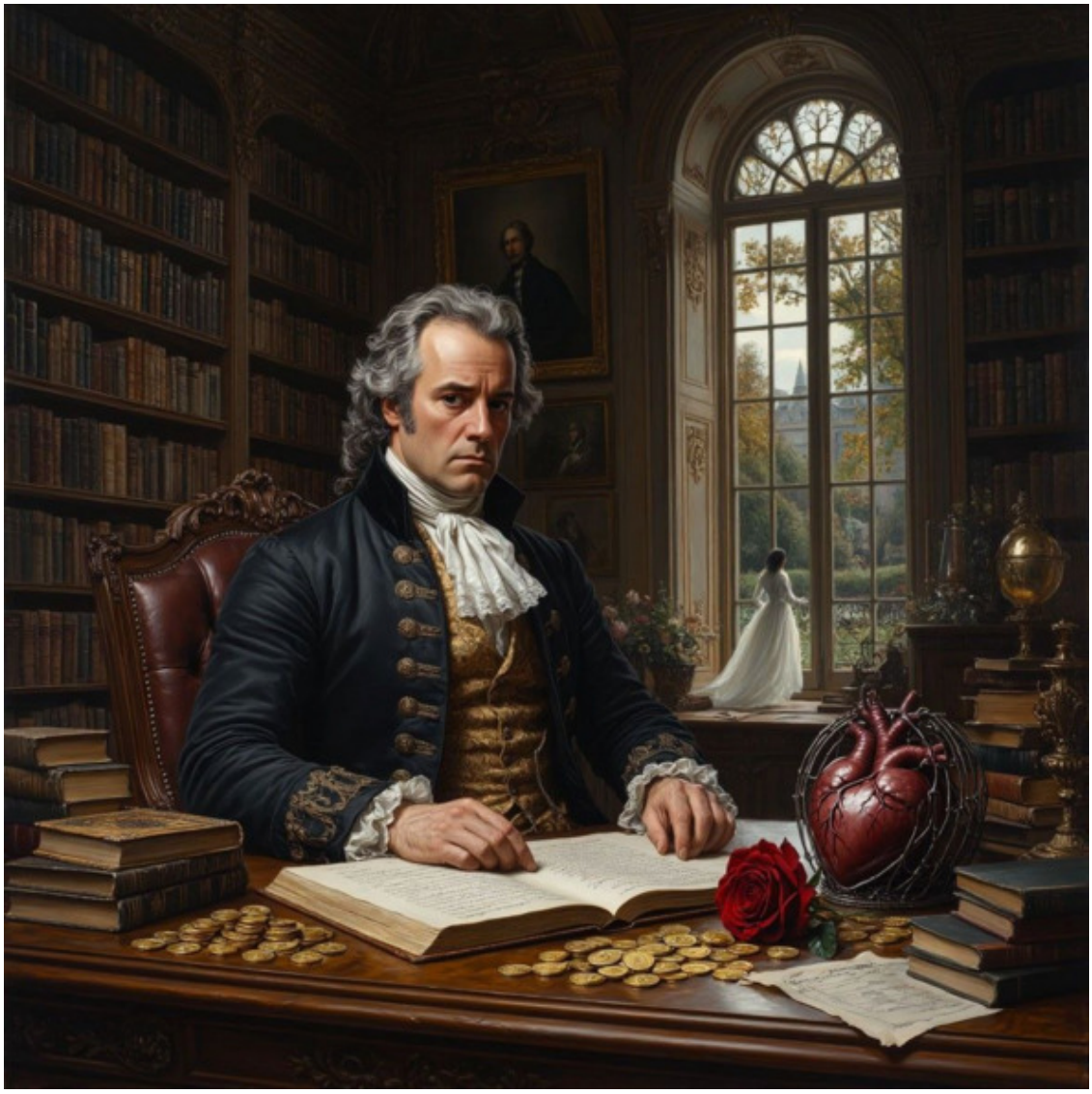
Семья Элизабет была столь же небогата, как и семья Фридриха. Мать девушки, измученная годами лишений, видела в дочери единственный шанс. Когда ей представился зажиточный вдовец-мясник из Аугсбурга, предложение было принято без колебаний. «Любовь не накормит семью, дитя мое», — сказала мать, и в ее глазах стояла такая твердая, непоколебимая правда прожитых трудностей, что возражать было невозможно.

Элизабет, воспитанная в покорности и долге, сломалась. Она не нашла в себе сил сказать Фридриху правду — о давлении, о страхе, о безысходности. Вместо этого, встретив его у старого дуба на их привычном месте, она произнесла заученные, леденящие слова: «Все кончено, Фридрих. Чувства прошли. Прошу, оставь меня». Ее голос дрожал, но он, оглушенный ударом, не заметил этого. Он увидел лишь отвернувшееся лицо и холод.

Мир Фридриха рассыпался. Точный, упорядоченный мир цифр, в котором он находил утешение, был разрушен хаосом боли. Он сидел ночами в своей каморке, и сердце, разбитое на осколки, будто физически ранило грудь. А потом боль сменилась чем-то другим — ледяным, твердым, неумолимым. Он собрал осколки и скрепил их не золотом нежности, а холодным железом решимости. Если мир ценит только звон монет и толщину кошелька, он даст ему это. Он докажет всем — Элизабет, ее матери, этому глумливому миру — свою стоимость.

Фридрих похоронил себя живьем. Его рвение, прежде одухотворенное любовью к делу, превратилось в безжалостную машину. Он работал по восемнадцать часов, выискивал малейшие неточности в отчетах, предлагал жесткие, но эффективные реформы, без колебаний идя по головам. Он учился искусству инвестиций, скупки земель, тонкостям торговли. Его ум, острый и дисциплинированный, стал его главным оружием. Постепенно низший клерк стал советником, затем — начальником отдела, а позже, покинув казначейство, превратился в удачливого коммерсанта и ростовщика.

С каждым заработанным талером стены вокруг его сердца росли. Он стал богат. Очень богат. Его дом в Мюнхене поражал роскошью, его одежда была сшита лучшими портными Парижа, за его столом сидели влиятельные люди. Но в огромных, пустых залах эхом разносился лишь звук его собственных шагов. Богатство не согревало. Оно было тяжким, блестящим саваном, под которым тлело остывшее сердце. Он смотрел на молодых влюбленных на улицах с чувством, похожим на голод, и тут же гнал эту слабость прочь, считая ее признаком поражения.



Элизабет вышла за мясника. Она прожила жизнь в достатке, но в тишине. Ее муж был грубоват и прост, их миры не соприкасались. Она родила ему троих детей, и в заботе о них находила отдушину. Но по ночам, глядя в окно на луну, такую же, как та, под светом которой они гуляли с Фридрихом, она чувствовала, как в груди ноет старая, незаживающая рана. Она выбрала долг, но заплатила за него всем светом своей души.

Фридрих умер в своем кабинете зимним вечером 1810 года. Рядом лежали кипы документов, подсчеты огромных состояний. Его нашли с пером в окоченевших пальцах. На столе, среди деловых бумаг, стоял маленький, ничем не примечательный камушек — тот самый, что Элизабет когда-то подобрала на берегу Изара и со смехом положила ему на ладонь со словами: «Храни его. Это наше сокровище».

Их истории канули в лету, став частью пыльных архивов истории. Но печальная правда, которую они пронесли через свои жизни, не устарела. И сегодня, в наш просвещенный век, многие все так же совершают ту же роковую ошибку: ставят расчет выше любви, холодную безопасность — выше риска быть счастливым. Они строят карьеры, накапливают капитал, заключают «разумные» союзы, замуровывая свои сердца в импозантные, но безжизненные склепы практицизма.

Но сердце, преданное и закованное в лед, не перестает тосковать по теплу. Оно может молчать годами, заглушаемое шумом успеха, но в тишине одиночества его стон будет звучать

громче любого звона монет. Богатство без радости — нищета. Статус без близости — тюрьма. Жизнь, в которой не было места любви, гармонии и душевной щедрости, в конце концов оказывается самой бедной из всех возможных, оставляя после себя лишь холодный пепел сожалений и невысказанных слов, замерзших на ветру безвременья.

Гроза и Свет

Верховный жрец Элдриан правил долиной Громового Ущелья тридцать зим. Его руки, иссеченные ритуальными шрамами, поднимались к небесам — и небо отвечало. Облака сбивались в свинцовые тучи, молнии бились о скалы, как послушные псы, а дождь лился именно там, где велел Элдриан. Но благодать эта была суровой, купленной ценой всеобщего страха.

Когда староста деревни усомнился в справедливости нового налога — урожаем, на закате ударил сухой гром, и амбар старосты вспыхнул синим пламенем. Когда детишки слишком громко смеялись у священного источника в постный день, на деревню обрушился такой ливень, что смыл три хижины. Страх стал воздухом, которым дышали. Покорность — единственным законом.

Но стихии не знают границ. Ураган, насланный Элдрианом на непокорного рыболова, ушел в соседнюю долину Цветущих Лугов, превратив их сады в болото. Мороз, призванный проучить ленивых лесорубов, дотянулся до виноградников жрецов Тихой Рощи. Терпение соседей лопнуло.

Под предлогом праздника Осеннего равноденствия жрецы пяти соседних общин собрались в древнем каменном круге за горами. Их лица, обычно мирные, были суровы.

— Он извратил дар Матери-Земли! — проговорил старый Орен из Тихой Рощи, его голос дрожал от гнева. — Он превратил гармонию в тиранию. Его сердце очерствело, как зимняя почва. Мы должны сделать его бесплодным для стихий.

Заклятие было старым и опасным: «Камень на сердце». Оно не убивало, но навечно отрезало жреца от живительных токов земли, делая его пустым сосудом. Они начали ритуал при свете полной луны.

Но у страха есть уши. Лайан, молодой гончар из Громового Ущелья, чью дочь Элдриан спас от лихорадки странными травами и шепотом к ветру, был в ту ночь в лесу, собирая особую глину. Спрятавшись за скалой, он услышал все. Сердце его сжалось. Он помнил и грозы, обрушивавшиеся на деревню, и теплые руки жреца, останавливавшие кровь на его собственной ране. Не думая о последствиях, Лайан побежал вверх по тропе к храму Элдриана.

Жрец стоял на открытой площадке храма, наблюдая, как далекие молнии играют на горизонте — не его воли, а просто игра природы. Увидев запыхавшегося Лайана, он нахмурился, готовый спросить, кто осмелился нарушить его уединение.

— Отец! — выдохнул Лайан, падая на колени. — Они идут… жрецы… они хотят отнять у тебя силу! Заклятием!

Элдриан замер. Не со страху — с откровения. Слова «они идут» прозвучали не как угроза, а как приговор. Приговор, вынесенный ему миром. Даже братья по дару, — пронеслось в его голове. Ополчились. Значит, я стал чудищем, с которым даже стихии не хотят говорить.

Он посмотрел на свою долину, спавшую внизу в сизом свете луны. На хижины, которые он мог спалить ударом молнии. На людей, которые вздрагивали при звуке его шагов. И впервые за тридцать лет могущественный жрец Громового Ущелья почувствовал ледяной ужас одиночества.

— Собери их, — тихо сказал он Лайану. — Скажи… скажи, что Элдриан просит выслушать его. Не как повелитель. Как провинившийся.

На рассвете в каменном круге собрались жрецы-заговорщики, их руки сжимали посохи, готовые к битве. Но Элдриан пришел один, без мантии власти, в простом льняном одеянии. Он не поднял руки к небу. Он опустился на колени перед кругом старейшин.

— Вы пришли наложить на мое сердце камень, — голос его, обычно громовой, был хриплым и тихим. — Не трудитесь. Оно и так стало тяжелым, как глыба. Вы правы. Я правил громом, думая, что так я силен. Но настоящая сила… — он посмотрел на их изумленные лица, — оказалась в том, чтобы не вызывать бурю, а предотвращать ее. Я прошу не милости. Я прошу шанса. Шанса научиться заново.

Старый Орен пристально смотрел ему в глаза, ища обман, привычную вспышку гнева. Но увидел только глубокую, непривычную скорбь и усталость. Он подошел и положил руку на грудь Элдриану. Жрецы затаили дыхание. Орен искал связь с землей, пульс силы.

— Его сердце… — произнес Орен, и его голос дрогнул от изумления. — Оно не каменное. Оно ранено. Но бьется. И в нем… тепло.

Они дали ему год.

Элдриан вернулся в свою долину другим человеком. Первым делом он собрал народ на площади. Он не вознесся на помост, а стоял среди них.

— Я причинил вам много страха, — сказал он, и люди недоверчиво перешептывались. — Отныне моя сила — не для угроз. Она — для вашего блага. Если нужен дождь — просите. Если нужна защита — говорите.

Сначала люди боялись. Потом осторожничали. Потом поверили.

Когда заболела жена мельника, Элдриан не наслал грозу в отместку духам болезни. Он три дня и три ночи сидел у ее постели, направляя к ней легкий, целебный ветерок и теплое дыхание земли. Она выздоровела.

Когда пришла засуха, он не вырвал у неба дождь силой, а провел обряд просьбы, и жители молились вместе с ним. И пошел теплый, благодатный дождь.

И случилось чудо. Люди, которых он так долго держал в страхе, начали приносить ему дары. Не из страха, а от сердца. Свежеиспеченный хлеб, ткани, вырезанные из дерева игрушки для храма. Дети перестали разбегаться при его виде, а однажды девочка подарила ему полевой цветок. Он взял его дрогнувшими пальцами, и в его глазах блеснули слезы.

Год спустя жрецы снова собрались в каменном круге. Элдриан пришел тем же путем. Но теперь за ним, соблюдая дистанцию, шли жители его долины — не по приказу, а по велению сердца.

Орен снова подошел к нему и положил руку ему на грудь. Его лицо озарила улыбка.

— Теперь твое сердце, — сказал старый жрец громко, чтобы слышали все, — оно бьется в унисон с сердцем самой Земли. Ты нашел истинную силу, Элдриан. Силу, которая не подчиняет, а созидает. Которая исходит не из страха, а из любви.

Элдриан взглянул на своих людей, на их открытые, светлые лица. Он поднял руку, но не к грозовым тучам. Он мягко провел ладонью по воздуху, и над кругом расцвела радуга, а в воздухе запахло медом и влажной землей. Тихая, всеобъемлющая радость наполнила пространство.

Так Жрец Грозы стал Хранителем Света. Он понял, что самое прочное правление зиждется не на страхе перед бурей, а на благодарности за солнце после нее. И его сердце, однажды едва не обратившееся в камень, навсегда осталось открытым, теплым и полным любви.

Одна волшебная ночь

Багдад времен расцвета Халифата был городом контрастов. Воздух над ним дрожал от ароматов специй и гниющих отходов, от звонких молитв и отчаянного торга. На одной из самых низких ступеней этой кипящей жизнью пирамиды стоял юный Адиль. Сирота, воришка, тень, скользящая по глиняным стенам. Его единственным другом и сообщником была маленькая, шустрая обезьянка Марьям, которую он научил отвлекать толпу, пока его тонкие пальцы находили дорогу к чужим кошелькам.

Их главной охотничьей территорией был вечерний базар, где под светом факелов сливались воедино золото и тени. Именно там Адиль выследил свою добычу — богатого персидского торговца в расшитом кафтане, чей кошель на поясе обещал месяцы сытой жизни. Сигнал Марьям, ловкое движение в толпе, и тяжелый кожаный мешочек уже ждал его в рукаве. Преследования не было. Как призрак, Адиль растворился в лабиринте узких улочек и вскарабкался на знакомые крыши, где был королем пустоты.

Усевшись на плоской кровле, под звездами, которые казались такими же далекими и холодными, как судьбы сирот, он вытряхнул добычу. Золотые динары, пара изумрудных серег — богатство, о котором он и мечтать не смел. Но среди сокровищ лежал странный предмет: кристалл темно-рубинового цвета, размером с голубиное яйцо. Он не сверкал, а, казалось, поглощал свет, храня его в своих кровавых глубинах.

Адиль вертел его в пальцах, подносил к уху, пытался укусить — ничего. Разочарование и усталость накатили волной. Желудок свело от голода. «Эх, сейчас бы горячего плова, жирного, с бараниной и абрикосами…» — подумал он с тоской.

Воздух перед ним задрожал, запахло шафраном и тмином. И прямо на теплой глине крыши материализовался дымящийся медный казан, полный того самого, идеального плова.

Сердце Адиля заколотилось, как пойманная птица. Чудо. Магия из старых сказок. Осторожно, он подумал о кувшине прохладной воды — и тот появился тут же. Восторг и жадность вспыхнули в нем ярче факелов базара. Он не стал раздумывать, зачем торговец носил с собой такое сокровище. У него был лишь миг, и он хотел его всю жизнь.

— Хочу быть богатым! Богатейшим! Дворец, слуги, шелковые одежды, наложницы, музыканты! — прошептал он, сжимая кристалл.

Мир поплыл перед глазами. Крыша под ним исчезла. Он очнулся на мягких шелковых подушках в просторной, прохладной комнате. Струился фонтан, в воздухе витал аромат розовой воды. Красивая девушка с опахалом склонилась над ним. За окном был не бедный квартал, а его собственный, утопающий в садах, дворец. Крик восторга замер у него в горле. Он все получил. Все и сразу.

День пролетел калейдоскопом наслаждений: он облачался в самые дорогие ткани, его осыпали комплиментами, он пил вино из хрустальных кубков и слушал лучших музыкантов. Это был пир во время чумы его прошлой жизни. Он засыпал с улыбкой, обняв кристалл, мысленно благодаря его за дарованное счастье.

Утро пришло со странной тяжестью в костях. Он потянулся за кубком с гранатовым соком, но рука, выскользнувшая из рукава халата, была не его. Это была рука старика: иссохшая, в синих жилах и коричневых пятнах. В зеркале на него смотрел незнакомец с мутными

глазами, глубокими морщинами и седой бородой. Паника, холодная и липкая, пронзила его. Он крикнул, но голос был хриплым и слабым.

Он понял все без слов. Кристалл не дарил чудеса. Он брал в уплату жизненную энергию. За один день роскоши он отдал все свои юные годы. Весь свой запас будущего.

Ужас сменился ледяным, всепоглощающим сожалением. Ему не нужно было это золото, этот дворец. Ему нужно было утро на крыше с Марьям. Нужен был долгий путь, где он, может быть, нашел бы честное ремесло, встретил бы любовь, увидел бы, как меняется лицо возлюбленной с годами. Ему нужны были трудности, усталость, маленькие победы и горечь поражений — сама ткань жизни. Он продал не дни, а целую судьбу. Кристалл лежал на парчовой простыне, тусклый и безразличный. Он не брал обратно.

Адиль-старец сидел у своего фонтана, окруженный несметным, ненужным богатством, и смотрел на играющих в саду птиц. Они жили. Каждое их движение, каждый взмах крыла был частью их настоящего. А его настоящее было в прошлом. Он променял тысячи рассветов и закатов, первый поцелуй, седину на висках, мудрость возраста — на одну ночь Шахерезады, после которой не наступило утра.

И сегодня, спустя века, люди продолжают торговать с темным кристаллом. Одни застревают в прошлом, бесконечно перебирая «а что, если бы», высасывая силы из сегодняшнего дня. Другие, жадно глядя в будущее, работают на износ, откладывая жизнь «на потом», клянясь, что вот-вот начнут жить. А жизнь, тихая и нежная, проходит мимо, как легкий ветерок в саду забытого дворца.

Мудрость не в том, чтобы бежать от трудностей или жадно хватать все блага мира. Она — в том, чтобы чувствовать тепло чашки в руках на рассвете. Слышать смех друга здесь и сейчас. Благодарить за то, что есть, даже если это всего лишь крыша над головой и верная обезьянка. Ибо настоящее, прожитое сердцем, — это единственная настоящая валюта, за которую не надо платить будущим. Не позволяйте своей жизни стать одной лишь роскошной, быстротечной ночью.

Месть и исцеление

Эпоха Конкисты закаляла характеры. В Севилье, где солнце прожигало мостовые, а в воздухе витали запахи апельсинов и дальних странствий, жила Исабель де Валье. Ее красота была легендой квартала Санта-Крус — волосы цвета воронова крыла, глаза, подобные темному янтарю, и пылкий нрав, который не могли укротить даже строгие правила испанского общества.

Родители выдали ее за Диего Ортиса, кожевника, когда ей едва исполнилось семнадцать. Тогда дочерей не спрашивали. Но судьба, столь часто жестокая, на этот раз оказалась милостивой. Диего, с руками, покрытыми шрамами от инструментов и дубильной кислоты, оказался человеком редкой души. За его молчаливой суровостью скрывалась нежность ремесленника, способного часами выводить сложные узоры на сафьяне. В их доме на Калле-де-ла-Сомбререрия не было роскоши, но царили тепло и гармония. Любовь расцвела между ними тихо и мощно, как оливковое дерево в скалистой почве.

За десять лет брака Исабель родила троих детей: Луиса, с отцовским упорным взглядом, маленького Пабло, мечтательного и тихого, и крошку Консуэло, чей смех звенел, как колокольчик. Диего трудился не покладая рук, и его мастерская стала известна далеко за пределами

города. Их дом был полной чашей — пахло свежим хлебом, кожей и лавандой, развешанной под потолком.

Но тень зависти легла на их порог. Дон Альваро, торговец тканями, чьи дела шли все хуже, не мог снести вида их безмятежного счастья. Жгучая злоба отравила его сердце. Однажды, в таверне, он, налив лишнего, проболтался шайке головорезов, промышлявшей на дороге в Кадис, о зажиточном кожевнике и его прекрасной жене.

Нападение случилось в душный августовский вечер. Исабель укладывала детей спать, Диего чинил замок на двери мастерской. Грубые удары в дубовую дверь заставили ее сердце упасть. Диего крикнул ей: «В подвал!» — но было поздно. Дверь с треском поддалась.

Их ворвалось шестеро, лица скрыты платками. От них несло потом, вином и злобой.

— Добрый вечер, маэстро. Поделись-ка своим добром, — прохрипел предводитель.

Диего не дрогнул. Он схватил молот для натяжки кож и молча встал между бандитами и семьей. В его глазах горел холодный огонь.

— Убирайтесь. Пока живы.

Один из разбойников бросился на него с ножом. Диего, могучим и точным движением, ударом молотка обезоружил его, а вторым, страшным ударом в висок, уложил на пол. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием. Дети замерли в ужасе, прижавшись к матери.

Но силы были слишком неравны. Пока Диего бился с двумя другими, четвертый, низкорослый и вертлявый, подкрался сзади с ломом-фомкой, тем самым, что они использовали, чтобы выломать дверь. Он занес его со всей силой и жестокостью, с хрустом, который Исабель слышала до конца своих дней, проломил Диего затылок. Ее муж, ее любовь, ее каменная стена, рухнул на пол как подкошенный дуб, даже не успев вскрикнуть.

У Исабель перехватило дыхание. Весь мир сплющился в тонкую, звенящую пленку. Она не чувствовала рук детей, не слышала их плача. Все происходило где-то далеко, под толстым слоем ваты. Она видела, как один из бандитов, с глазами пустыми, как у акулы, взял ее дочь… Потом сыновей… В комнате стало тихо. Слишком тихо.

Только когда грязные руки потянулись к ее платью, разрывая тонкий лен, в ней что-то дрогнуло. Ее тело оскверняли, а душа, казалось, витала под потолком, наблюдая за этим кошмаром. Но в самом ядре ее существа, в глубине, куда не проникала даже боль, медленно и чудовищно, как лава, стала подниматься ярость. Это была не истерика, не отчаяние. Это была холодная, кристальная решимость.

Когда насильники, уставшие и расслабленные, отвернулись, закуривая, она двинулась. Не как обезумевшая женщина, а как пантера. Она проскользнула мимо них, выскочила в распахнутую дверь и побежала. Бежала по ночным улицам Севильи, не чувствуя под собой камней, не слыша криков погони. Она бежала в лес, что начинался за городской стеной, и только там, в чащобе, упала на землю и, наконец, закричала. Беззвучно, разрывая горло изнутри.

На рассвете она пришла в себя. Сердце ее было не разбито. Оно было запечатано. Заколочено наглухо, как дом, в котором умерли все жильцы. Она стряхнула с себя листья и пошла. Прямо в суд, к алькальду. Говорила она ровно, без слез, словно отчитываясь о потерянном товаре. Ее показания, полные леденящих душу подробностей, стали приговором.

Разбойников, включая дона Альваро, который быстро заговорил под пыткой, поймали через неделю. Приговор был скорым — виселица на главной площади. Весь город пришел поглазеть на казнь. Исабель стояла в первом ряду. Она смотрела, как болтаются в петлях тела тех, кто отнял у нее все. Ждала облегчения. Ждала, что боль утихнет. Но ничего не произошло. Только пустота внутри стала глубже и чернее.

Она поселилась в дальнем монастыре, потом переехала в Мадрид, сменив имя. Жизнь продолжалась. Она прожила долгую жизнь — еще пятьдесят лет после той ночи. Она работала, строила, даже помогала другим. Но всегда — на расстоянии. Люди были для нее хрупкими стеклянными фигурками, которых больно любить, ведь их так легко разбить. Любая привязанность казалась ей будущей могилой. Она боялась за каждого, кто хоть на миг становился ей близок, и потому отталкивала всех. Ее сердце, когда-то пылавшее любовью, превратилось в склеп, где в кромешной тьме хранились портреты Диего, Луиса, Пабло и Консуэло.

Десятилетия спустя, уже глубокой старушкой, она жила в небольшом домике у моря в Валенсии. Однажды вечером она сидела в саду, наблюдая, как солнце красит воду в золото и

багрянец. К ее калитке подошла соседская девочка, Марита, и протянула ей только что распустившуюся алую гвоздику.

— Для вас, сеньора. Она такая же красивая, как вы.

Девочка улыбнулась и убежала.

Исабель смотрела на цветок. Он был хрупким. Его лепестки могли смяться от малейшего прикосновения. Он был обречен завянуть через несколько дней. И все же он был прекрасен. В нем не было страха перед неизбежным увяданием. Он просто цвел, отдавая миру всю свою красоту, не требуя гарантий.

И в тот самый миг, под шепот средиземноморского прибоя, что-то в ней сломалось. Не сердце — оно было сломано давно. Сломалась та стальная дверь, что она сама возвела вокруг него. Прошло семьдесят лет. Она отдала мертвым все, что могла — свою скорбь, свою ярость, свою жизнь. Что, если попробовать отдать что-то живым? Хотя бы остаток своих дней.

Она поднесла гвоздику к лицу, вдохнула ее пряный, сладкий аромат. И позволила себе вспомнить. Не боль, не кровь, не страх. А смех Консуэло. Упрямый взгляд Луиса. Задумчивую улыбку Пабло. И теплые, сильные руки Диего, которые умели так грубо работать с кожей и так нежно касаться ее щеки.

По ее морщинистой щеке скатилась слеза. Первая за многие-многие годы. Она не была горькой. Она была, как первый дождь после долгой засухи. Сердце, запертое и иссушенное, медленно, со скрипом, как давно не открывавшаяся дверь, стало распахиваться.

Она не забыла. Она простила. Не бандитов — их она простила давно, ибо ненависть слишком тяжела для ноши. Она простила себя. За то, что выжила. За то, что не умерла тогда вместе с ними. За то, что боялась жить.

На следующий день она пригласила Мариту и ее семью на чай. Она стала рассказывать истории — не те страшные, а другие. О Севилье, о запахе кожи и апельсиновых цветов, о любви, которая бывает сильнее смерти.

Исабель де Валье прожила после этого еще два года. Не слишком долго, но достаточно. Она научилась снова смеяться громко, без оглядки. Дарить подарки без страха, что их не оценят. Обнимать соседских детей, не думая о том, что может их потерять. Она разрешила себе жить. И ее сердце, израненное, залатанное, но живое, наконец, открылось этому миру, приняв его хрупкую, мимолетную и бесконечно прекрасную красоту. Она поняла, что любовь — это не гарантия от потерь. Это мужество любить, несмотря ни на что. И это была ее последняя, и самая великая, победа.

Хлеб и холод

В память о блокаде Ленинграда. Реальная история из одного регресса.

Память — странная вещь. Она берет тебя за руку и ведет туда, куда не хочется, но нельзя не идти. Вот и сейчас, глядя на уютный ужин в теплой квартире, я снова там. Не здесь, не в этом мягком кресле с пледом на коленях, а там — в блокадном Ленинграде, в комнате, где дыхание становится инеем на стенах.

Мне было пять лет. Память о довоенном мире — какая-то размытая открытка: солнце, зелень, папины сильные руки, подбрасывающие меня к потолку. А потом началась война, папа

ушел на фронт в первые же дни, и мир сжался до размеров нашей комнаты, брата Вовки и маминых глаз, ставших огромными в исхудавшем лице.

Главное воспоминание — голод. Не как чувство, а как отдельная сущность, которая жила с нами, дышала в лицо, сжимала живот холодным узлом. И холод, пробирающий сквозь все слои одежды, въедающийся в кости.

Мы жили втроем. Папа присылал с фронта что мог — иногда сухари, иногда кусочек сахара, завернутый в газету. И мы выжили. Во многом благодаря маме. У нее был тайник — дырка в стене за отклеившимися обоями, где она прятала неприкосновенный запас: кусочек хлеба, размером со спичечный коробок. Хлеба, в котором было все: и древесные опилки, и лебеда, и жмых, — только почти не было муки. Этот кусочек был нашей последней надеждой, нашей путеводной звездой на тот случай, если «совсем нечего будет есть». Мама трогала его каждый день, проверяя, на месте ли он, но ни разу не позволила нам съесть, пока был хоть какой-то другой паек.

Вове было девять. Он старался быть как папа — серьезным, сильным. Мы вместе ходили на Неву, за водой. Нескончаемая процессия людей с ведрами и бидончиками, бредущих по снежной тропе к черной проруби. Лед был толстенный, синеватый, а вода ледяной иглой пронзала руки даже сквозь рукавицы.

Однажды мы возвращались. Я несла маленький бидончик, Вова — два тяжелых ведра на коромысле. Небо было низким, свинцовым. И вдруг оно завыло.

Сначала далекий гул, потом свист, который рос, рвал барабанные перепонки. Первый взрыв грохнул где-то за спиной, за спинами других таких же, как мы, водовозов. Земля вздрогнула. Крики, бег. Вова бросил ведра, вода тут же стала льдом на снегу.

— Ложись! — закричал он, но его голос утонул в новом, более близком разрыве. Грохот оглушил, в ушах зазвенело. Снег и земля взметнулись фонтаном впереди.

Он схватил меня за рукав, потянул к себе, и мы упали в промерзшую колею от саней. Свист стал пронзительным, воющим прямо над головой. Мир сузился до Вовиного лица, его широко раскрытых глаз. И в них я увидела не детский испуг, а понимание. Странное, взрослое, страшное понимание.

— Закрывай уши! — крикнул он.

И закрыл меня собой. Всей своей девятилетней, худой, но для меня невероятно сильной спиной.

Удар. Оглушительный грохот. Давление. Горячий вихрь. Тишина. А потом — звон. Скорлупа изо льда и огня, в которой я лежала, прижатая к мерзлой земле. Сверху было тяжело. Очень тяжело.

— Вов? — прошептала я.

Он пошевелился. С трудом приподнялся на локтях, заглянул мне в лицо. Из его носа текла кровь, падая на мою варежку.

— Живая? Целая? — голос был хриплым.

Я кивнула, не в силах вымолвить слово.

Он улыбнулся. Кровь попала ему на губы.

— Ничего, сестренка… Ничего. Держись. Мама ждет.

И тогда он сказал. Сказал так, словно договаривался о чем-то важном, самом главном в жизни:

— Я всегда буду рядом. Слышишь? Всегда. Просто… ищи меня.

Его голова опустилась мне на плечо. Сначала я думала, он просто устал. Потом поняла, что он не дышит. Кричать я не могла. Плакать — тоже. Просто лежала под ним, смотрела в серое небо, из которого уже не сыпались бомбы, а падал тихий, равнодушный снежок.

Потом были люди, чужие руки, мамин тихий, надрывный вой, которого я никогда не слышала от нее раньше. И хлеб из тайника. Нам с мамой его хватило на три дня. Потом пришла «Дорога жизни».

Я никогда не доедаю до конца. Муж — мой красивый, добрый, бесконечно любимый муж — сначала шутил: «Жена, ты что, на диете? Или невкусно?» Потом перестал спрашивать. Он просто молча доедает мою порцию или убирает оставшийся кусочек в холодильник. В холодильник, где всегда, за любыми продуктами, в дальнем углу полки, лежит завернутый в бумагу ломтик хлеба. Просто лежит. На всякий случай.

А еще я не могу согреться. Даже летом сплю под тонким одеялом, а зимой… Зимой на меня накатывает тот ленинградский холод. Он внутри, в костном мозге. Я укутываюсь в два пледа, муж прижимается ко мне, греет своими большими, горячими ладонями, но холод отступает лишь на время. Он мой, он часть меня.

Иногда, засыпая в его объятиях, я чувствую что-то знакомое, давно забытое. Запах снега, мерзлой варежки, детской надежды. И слышу сквозь сон шепот, который знаю наизусть, всей своей душой:

«Я всегда буду рядом. Слышишь? Всегда».

Я слышу, Вова. Я нашла тебя. И мы больше никогда не будем голодны. И я сделаю все, чтобы ты был всегда согрет.

Он спит, его дыхание ровное. А я прижимаюсь к его плечу, к тому месту, где под пижамой прячется шрам — странное, звездчатое пятно, с которым он родился. И мне тепло. По-настоящему тепло.

Тихая месть

Страшнее холода в Смирновском поместье была только тишина перед бурей. А буря приходила всегда с запахом хлебного вина и тяжелыми шагами барина по дубовым половицам. Его звали Григорий Петрович, но крепостные шепотом называли его Незванцем — будто не человек родился, а нечто иное пришло на свет, лишенное души.

Аннушка знала этот запах с детства. Он пропитал стены барского дома, где она с матерью Матреной прислуживала. В шестнадцать лет Аннушка уже понимала: когда из кабинета доносится звон хрустального графина, пора становиться невидимкой. Но невидимками не становились. Их находили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.